

Когда в январе 2001 года скончался Вадим Валерианович Кожин и об этом было сообщено в одном большом “либеральном” литературном собрании – в зале, в котором не было ни друзей, ни единомышленников ушедшего, повисло напряженное молчание. И присутствовавший корреспондент одной “демократической” газеты, написал, словно бы даже против своего желания, что в этот момент все почувствовали: “Ушла эпоха”.

Признание чрезвычайно симптоматичное. И обладающее тем смыслом, о котором едва ли догадывались собравшиеся.

Первая мысль, которая приходит здесь на ум: с Кожинным ушла единственная спокойная эпоха в России XX столетия. Эпоха, располагавшая к неторопливому собиранию мысли, обдумыванию важнейших онтологических, судьбоносных узлов исторического бытия России и мира. И нет никакого противоречия в том, что создание и публикация основных исторических и историософских кожиновских сочинений – “История Руси и русского Слова” и “Россия. Век XX” – пришлись на время всероссийского и всемирного катаклизма, на 1990-е годы XX века. Их появление было подготовлено всей предшествующей работой мысли теоретика литературы, литературного критика, литературоведа, историка, историософа.

Имя Вадима Валериановича Кожина много лет ассоциировалось преимущественно с его работами в области теории литературы и на ниве литературной критики. В последнее время о нём вспоминают преимущественно как об историографе.

Но, по существу, о нём следовало бы говорить, как о творце, органически соединившем в себе науку о литературе с наукой – отечественной историей.

Он родился в 1930 году, школьником встретил Великую Отечественную, с 1948 по 1953 гг. учился на филологическом факультете МГУ, после которого был принят на работу в отдел теоретических проблем Института мировой литературы, где и защитил кандидатскую диссертацию по становлению европейского романа в XVI–XVII веках.

Решающее значение для кожиновской научной, критической, исторической работы, а также для всего его мировоззрения имело знакомство с М. М. Бахтиным – сначала с книгой “Проблемы творчества Достоевского”, изданной в 1929 году, а затем и с самим учёным, которому Кожин в конце концов помог перебраться на постоянное жительство в Москву. Именно благодаря Кожинову были в начале 1960-х годов изданы книги Бахтина “Проблемы поэтики Достоевского” и “Творчество Франсуа Рабле”, заново открывшие для России уникального отечественного философа и мыслителя. И именно во многом благодаря Бахтину Кожин пришел к простой и в то же время совершенно неочевидной для многих его современников мысли: важна не “позиция”, занятая по отношению к тем или иным трагическим узлам истории, а позиция исторического процесса в целом.

История и литература существовали в мировосприятии Кожина как единое целое, и поэтическое слово, исследованию которого он посвятил большую часть своей жизни, обрело для него свою подлинную ценность в контексте Большой Истории. Стремление разгадать смысл этого слова и было его сверхзадачей в процессе работы над “Книгой о русской лирической поэзии XIX века”, книгой “Стихи и поэзия”, над предисловиями к поэтическим сборникам его ближайших друзей – Николая Рубцова, Владимира Соколова, Анатолия Передреева, Василия Казанцева, Станислава Куняева, Юрия Кузнецова. “Эти поэты... – писал он в статье “Полнокровность поэтического мира”, – осознанно стремились к тому, чтобы в полной мере возродить, воскресить заветы русской классической поэзии, усматривая в этом отнюдь не собственно литературную, а жизненную, бытийственную задачу. Сейчас чуть ли не каждый литератор говорит о великих ценностях, утраченных или извращённых в катаклизме революции. Поэты же, о которых я говорю, сумели если и не осмыслить в полной мере, то всем существом почувствовать, пережить всё это три десятилетия назад (статья писалась в 1992 году. – С.К.). И более того – выразить в поэтическом слове, право же, сильнее и глубже, чем это делают столь многие ныне, чаще всего попросту следуя за общим поветрием...”

Но сама по себе исследовательская работа Кожина с поэтическим словом его современников и их недалёких предшественников свидетельствовала не только о ценностях утраченных, но о ценностях обрётённых и созданных в той самой эпохе, которую он некогда пытался отвергнуть всю в своем молодом максимализме неопита.

Начав свой путь как теоретик литературы (он принимал участие в числе других молодых сотрудников ИМЛИ в написании 3-томного научного труда “Теория литературы”, издал книги “Виды искусства” и “Происхождение романа”) – он с середины 1960-х всё большее внимание уделял современной литературе, но уделял не как обыкновенный критик.

Собственно говоря, критика как таковая мало что значила в его восприятии жизни и литературы, как единого целого.

“В чём задача филолога? Он должен положить руку на пульс произведения”, – эти слова университетского профессора, великого пушкиниста Сергея Михайловича Бонди стали для Кожина своеобразным камертоном в его литературно-критической деятельности. Точнее сказать, в работе литературоведа над произведениями современных поэтов и прозаиков.

“Меня по-настоящему интересовали лишь те явления современной литературы, – писал он в предисловии к книге “Статьи о современной литературе”, вышедшей в 1982 году, – которые, на мой взгляд, имеют основания стать предметом литературоведения – или, иными словами, полноправно войти в историю отечественной литературы... Меня всегда увлекала задача утверждения достоинства тех истинных писателей, которые не пользовались в данный момент широким признанием. Не буду скрывать, что мне особенно дороги написанные в середине 1960-х годов статьи, воздающие должное таким художникам, как В. Белов, Н. Рубцов, В. Соколов, В. Шукшин, чьё творчество обрело позднее самое высокое и самое широкое признание”.

Думается, что статьи В. Кожина “Голос автора и голоса персонажей”, “Стихи должны быть, как открытое окно...”, “Николай Рубцов” (статья, выросшая в книгу) – лучшее из донине написанного о Белове, Соколове и Рубцове. Также своего рода образцом разбора прозаического произведения стала статья “Проблема автора и путь писателя. На материале двух повестей Юрия Трифонова”, где Кожин блистательно доказал: несмотря на всю “перевёрнутость” одной и той же сюжетной ситуации в “Студентах” и “Доме на набережной” – никакой реальной эволюции во взглядах автора не произошло.

* * *

Кожин любил переворачивать “общепринятые” представления о том или ином писателе или том или ином литературном периоде. Причём сначала встречал взрыв неприятия, а спустя время им сформулированное становилось “общим местом”, а о самом Вадиме Валериановиче (как и часто бывает) уже “не вспоминалось”.

Но отдельные его заключения и ныне с трудом находят себе место на “литературоведческой” территории.

В 1965 году, во время своего очередного смыслового “перелома”, он писал М. М. Бахтину: “Последнее время очень увлекаюсь последекабристским периодом русской культуры (1826–1840). Удивительное время. Самое **прекрасное**”.

Эти слова писались не без определённого вызова. И в официальных, и в “диссидентских” кругах это время характеризовалось преимущественно, как “безвременье николаевской реакции”. Актуализировался Юрий Тынянов с его характеристикой 1830-х годов: “Как страшна была жизнь превращаемых, жизнь тех из двадцатых годов, из которых перемещалась кровь! Они чувствовали на себе опыты, направляемые чужой рукой, пальцы которой не дрогнули... С Лермонтова идёт по слову и крови гнилостное брожение, как звон гитары”... В моде были книги Аркадия Белинкова “Юрий Тынянов” (автор которой особо никогда и не скрывал своей холодной ненависти к России), Александра Лебедева “Чаадаев” (этот автор, соученик Кожинова на филфаке МГУ, был в конце 1940-х ярким гонителем “космополитов”, а в 1960-е, “записавшись в либералы”, объявил Чаадаева убеждённым западником — и разоблачению этой злонамеренной “легенды” Вадим Валерианович посвятил немало страниц). В “Книге о русской лирической поэзии XIX века” (глава “После Пушкина. Тютчев и его школа”) Кожинов убедительно, доказательно развенчивал построения как Тынянова, утверждавшего, что Пушкин не оценил таланта Тютчева, так и Лидии Гинзбург и Андрея Битова, утверждавших, что Тютчев “боролся” с Пушкиным. Особо обращает на себя внимание следующее утверждение Кожинова: “Всем поэтам тютчевской школы... присущи отчётливые антииндивидуалистические тенденции. И это, безусловно, связано с их славянофильской идеологией”.

Эта мысль далее во многом уточнялась и обогащалась её автором в различных работах, а также в основном, главном сочинении В. В. Кожинова — биографии Фёдора Ивановича Тютчева, писавшейся в конце 1970—начале 1980-х годов и изданной в серии ЖЗЛ лишь в 1988 году. Кожинов представил Тютчева во всём его гармоническом единстве великого русского поэта, выдающегося дипломата, пронизательного публициста и как бы заново раскрыл смысл его поэтического творчества. “Для Тютчева всё подлинное бытие России вообще совершалось как бы на глубине, недоступной поверхностному взгляду. Истинный смысл этого бытия и его высшие ценности не могли — уже хотя бы из-за своего беспредельного духовного размаха — обрести предметное, очевидное для всех воплощение...”

Хорошо известно, что любой, пишущий о любимом писателе, вкладывает в написанное и свой жизненный опыт, и свои пристрастия и увлечения — и во многом смотрится в описываемый им художественный мир, как в зеркало. И трудно отделаться от мысли, что Кожинов актуализировал в Тютчеве близкое себе самому.

“Поскольку каждое, даже само по себе частное событие своего времени являлось перед Тютчевым как определённое звено во всемирной истории, нет ничего парадоксального в том, что потрясённое видение Космоса сочеталось в его душе со страстным интересом к сегодняшней газете”.

Читая Кожинова, видишь, как важен для него диалог, полемика с предшественниками и современниками, и в этом непрекращающемся обстоятельном разговоре цитаты и ссылки сменяют друг друга и создаётся солидная разнородица мнений, тенденций, высказываний по самым разным проблемам, удерживаемая голосом автора, объединённая актуализированной Кожиновым темой... В своих неустанных трудах на поприще русского слова и дела, он стремился окружать себя единомышленниками и соратниками. Когда он писал о том, как Тютчев “жадно искал людей, которые смогли бы действовать с ним заодно в области внешней политики”, он писал отчасти и о себе самом, искавшем и находившем соратников, действующих с ним заодно в области познания культуры, истории, политических процессов.

Мир Кожинова — это совокупность широких, богатейших, разнообразных творческих миров. Он исследовал все художественные направления — от крайностей авангарда до классической русской традиции, осенённой именем Пушкина, от мира славянофилов, до, казалось бы, изученного, но и ныне во

многим только приоткрывающегося мира былинного слова и древнерусской книжности. “Да есть ли хоть что-то, чего Вы не знаете?” – бросил ему один из его оппонентов, как бы с иронической подкладкой, но на деле – будучи действительно поражён кожиновскими познаниями. Далеко не каждый мог выйти с ним на открытую полемику (Кожинов воспринимал лишь серьёзную аргументацию, готовность к диалогу с обеих сторон, вне зависимости от убеждений того или иного оппонента; он не переносил “обличений”, “нередко патологически нервных и комически многословных”, по его же собственному выражению), и силу и тяжесть кожиновских аргументов почувствовали на себе многие – от Льва Аннинского до Алеся Адамовича, от Бенедикта Сарнова до Андрея Нуйкина.

Он находился в постоянном поиске, состоянии постоянной жажды новых открытий – неизведанных исторических и литературных полей, новых имён в современной литературе, кинематографе, русском мелосе. И постоянно расширял границы своего собственного мировосприятия. К концу 1960-х годов, нащупывая подступ к таким своим статьям, как “К методологии истории русской литературы”, “Национальная литература: прошлое или будущее”, “О главном в наследии славянофилов”, “О поэтической эпохе 1850-х годов”, когда он сам, по его признанию, “думал, что следует непосредственно “продолжать” и “развивать” наследство... Киреевского, Хомякова, Григорьева, Леонтьева... и даже прямо писал об этом (насколько это получалось в тогдашних условиях печатания)” – он уже думал о “размыкании” своего “идейного” круга, к выходу на своеобразный “слом стены” между классической славянофильской и классической западной мыслью (“Давно хочу выйти за пределы своих “национальных” идеалов, но ещё не знаю куда”, – писал он М. М. Бахтину). Собственно сама классическая русская литература и подсказала направление поиска. Кожинов пришёл к необходимости “воскрешения” в новой реальности всеобъемлющей мысли, проникнутой подлинным историзмом, свойственной Пушкину, Чаадаеву, Тютчеву, Достоевскому, не разделённой на “славянофильское” и “западническое” ответвления.

Для Кожинова любая историческая дискуссия, касалась ли она взаимоотношений Руси с Хазарским каганатом или национального состава первого советского правительства, питалась живыми токами современности и была непосредственным зеркальным отражением страстей, бурлящих в жизни, творящейся на его глазах. С конца 1970-х годов его внимание всё более и более сосредотачивалось на истории России, которая не отделялась от истории русского художественного слова. “Первой ласточкой” такого рода “органического исследования” стала статья “И назовёт меня всяк сущий в ней язык...”, опубликованная в 11-м номере “Нашего современника” за 1981 год, после чего через несколько месяцев был снят с должности подписавший этот номер в печать первый заместитель главного редактора журнала Юрий Селезнёв, а сама кожиновская работа стала сигналом для составления памятного постановления “О творческой связи литературно-художественных журналов с практикой коммунистического строительства” (изданного в общих рамках начатой Ю. Андроповым борьбы с “русизмом”), после чего цензурные ограничения, налагаемые на русскую мысль в печати, стали особенно жёсткими. В связи с этой статьёй невозможно снова не вспомнить о **диалоге** – на сей раз, диалоге единомышленников – Вадима Кожинова и Юрия Кузнецова, который в стихотворении “Повернувшись на Запад спиной...” как бы соединял голоса Достоевского и Кожинова в единый звуковой поток, воссоединял образы классика и современника, цитирующего и цитируемого, – и мысль этого двуединого персонажа направлена на Восток.

*Повернувшись на Запад спиной,
К заходящему солнцу славянства,
Ты стоял на стене крепостной.
И гигантская тень пред тобой
Убегала в иные пространства.*

Плодом их бесед стало и написанное тогда же Кузнецовым стихотворение “Для того, кто по-прежнему молод...” с прямым обращением к монограммам Версилова в “Подростке” и Ивана в “Братьях Карамазовых” – о том, что европейские “священные камни кроме нас, не оплатят никто”.

Кожин овладел увительным магнетизмом, он втягивал множество людей в своё поле, и в этом поле каждый — на время или навсегда — вырос-тал и в его, и в собственных глазах. Множество мыслей, щедро разбросан-ных им и не воплощённых в собственных статьях и книгах, подбиралось бла-годарными и внимательными собеседниками и воплощалось уже в их трудах, которыми потом зачитывались думающие читатели.

Последние годы жизни Кожинова были непосредственно связаны с жур-налом “Наш современник”, членом редколлегии которого он стал после при-хода на место главного редактора Станислава Куняева. Книги “История Руси и русского Слова”, “Россия. Век XX” стали своеобразным стеновым хребтом журнала, выстраивали его политическую и интеллектуальную линию. Кожин ов стал, если угодно, “теневым идеологом” издания, привлекая на его страницы множество авторов — от Игоря Шафаревича до Сергея Кара-Мурзы и Алексан-дра Панарина. Авторы разных, подчас категорически не согласных между со-бой, но умеющих вести подлинно интеллигентный диалог и вместе работаю-щих на общее русское дело.

Огромный интерес в книге “Россия. Век XX” вызвала у читателя серия глав, посвящённых “черносотенцам”. Кожин ов впервые показал, что люди, исповедовавшие “черносотенную” идеологию, представляли культурнейший слой России начала XX века и — единственные в то время — понимали проис-ходящее и прозревали грядущие катаклизмы. Он показал также, что эти идеи, пусть не оформленные в сознании, исповедовали и широко народные мас-сы, “третья сила”, которая в сложившихся исторических условиях была обре-чена на поражение. Но поражение политическое не стало поражением духов-ным, смысловым, что и показал писатель в последующих главах “Истории”. То же можно сказать и о Кожинове, и о его единомышленниках на рубеже XX–XXI веков. Их “консерватизм”, обращённый в будущее, осуществлявший н е р в у щ ю с я связь времён, был не ко двору ни у государственного и пар-тийного официоза, ни у новоявленных “революционеров” вполне буржуазного разлива. И до сих пор мудрое и объединяющее кожиновское слово, по сути, изгнано из мира современных телеристалищ и “ток-шоу” на “исторические те-мы” по причине крайнего неудобства существования нынешних “дуэлянтов” (и с той, и с другой стороны) рядом с ним.

Завершить это небольшое предисловие хотелось бы словами Валентина Распутина, сказанными им через месяц после кончины Вадима Валериановича.

“... Мы настолько привыкли, что у нас есть Вадим Валерианович Кожи-нов, и он, сколько бы ни путали путаницы отечественной культуры и истории, всё расставит по местам, поймает за руку, всему даст точное объяснение... — настолько привыкли, что и в горе прежде явилась невпопад какая-то детская обида: да что же это он? Как теперь без него?”

“Исследователь” и “следователь” — слова близкие, одного корня, и озна-чают поиски правды. Кожинову в его последнее, самое тяжкое для России преступное десятилетие, быть может, больше даже подходит “следователь” — в нравственном смысле: свои поиски он вёл не бесстрастно, не по-буквед-ски, а словно спасая самую близкую судьбу, торопясь представить доказа-тельства оговора и подтасовок. Даже тому, что происходит на наших глазах, Вадим Валерианович давал своё самостоятельное объяснение, и оно оказы-валось более верным. Он постоянно находился рядом с нами, но шёл как бы чуть обочь — откуда видно лучше и где потайное смещение культурных и об-щественных пород оставляет читаемые знаки.

Что говорить! Он был одним из тех и даже более чем кто-либо другой, кто помогал нам добывать Отчизну нашу. Он очень нужен сегодня и как нужен был бы завтра...”

(Продолжение следует)